

ПРОСВЕЩЕННЫЙ НАСЛЕДНИК-2

Государство — есть совокупность
права и блага народа.

1. Закон
2. Честь
3. Общественность
4. Просвещение



Цель правления:
Благо народа.

История разгорается
теми, кто разгорается
знаниями.

ПАВЕЛ СМОЛИН

Павел Смолин

Просвещенный наследник 2

«Автор»

2026

Смолин П.

Просвещенный наследник 2 / П. Смолин — «Автор», 2026

Восемь лет назад в тело десятилетнего великого князя попал человек из другого века — усталый ревизор, потерявший имя, но не выучку. Мир вокруг него так и не узнал о подмене. Сам он давно перестал чувствовать себя подменой. 1796 год. Екатерина умирает, трон достаётся Павлу — и вместе с короной в жизнь двора входит эпоха нервных указов, гатчинской муштры и грозы, которую весь Петербург научился предсказывать по стуку отцовской трости о паркет. Досье, которое герой годами собирал против чужих грехов, начинает исподволь фиксировать грехи собственного отца — и это ещё не самая тяжёлая из его новых находок.

© Смолин П., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Павел Смолин

Просвещенный наследник 2

Глава 1

Глава 1

Второй раз в жизни меня одевали в то, что я не выбирал и не мог снять сам, — но если девять лет назад это были детские кафтанные пуговицы, застёгнутые не в том порядке, то теперь это было нечто, весившее, кажется, не меньше самого меня в десятилетнем возрасте: тяжёлая, шитая по подолу двуглавыми орлами мантия, из тех, что не носят, а в них стоят, потому что сидеть в подобном облачении устройство человеческого тела попросту не предусматривает. Камер-паж — юноша года на два меня младше, оробевший до полной неспособности встретиться со мной взглядом, — заправлял последнюю застёжку у ворота с той же торжественной сосредоточенностью, с какой Прокофий Ильич когда-то укладывал мне непослушный вихор перед вечерней службой, и я поймал себя на неуместной, но тёплой мысли: должно быть, где-то в этом самом дворце десятилетний мальчик до сих пор стоит смиренно, покуда чужие руки застёгивают на нём чужую, слишком взрослую для него одежду, — просто мальчик этот давно уже не я, а я вместо него стал одним из тех, ради кого затевается всё это торжество.

Мантия оказалась тяжелее, чем я ожидал даже с поправкой на все предупреждения камергера, отвечавшего за облачение, — тяжелее не столько весом самой ткани, сколько тем, до чего скованно она заставляла держать плечи и шею, вынуждая идти той особой, неестественно прямой поступью, какую я до сих пор знал только по портретам покойной бабушки в дни больших приёмов. Я невольно вспомнил её собственную коронационную мантию, которую видел однажды на гравюре в одной из дворцовых книг, — и подумал мельком, без всякой видимой связи, что вот и мне, вероятно, предстоит однажды позировать для подобной же гравюры, которую какой-нибудь будущий десятилетний правнук станет разглядывать со столь же смутным, ещё не осознанным трепетом, с каким когда-то разглядывал её я сам.

За стеной, в соседних покоях, готовили к тому же обряду Елизавету — не как невесту на этот раз, а как супругу наследника, чьё присутствие на коронации свёкра было делом уже не романтическим, а протокольным, — и я успел различить сквозь двойные двери её голос, мягко выговаривающий камеристке за слишком туго затянутую шнуровку, прежде чем меня самого позвали вниз, в парадные сени, откуда должно было начаться шествие.

Москва встретила меня той весной шумом, какого я не помнил с самого детства, — колокольным звоном, доносившимся, казалось, разом со всех сорока сороков, толпой, запрудившей улицы от Кремля до самых окраин в надежде хоть краем глаза увидеть новую власть, и особым, чуть тревожным гулом города, который давно отвык от коронаций и теперь наверстывал упущенное с избыточным, нервным энтузиазмом. Пока мы шли — вернее сказать, торжественно, мучительно медленно двигались — от дворца к Успенскому собору сквозь строй кавалергардов в непривычных ещё, недавно перекроенных по прусскому образцу мундирах, я в какой-то момент поймал себя на том, что механически подсчитываю число свечей в руках у стоящих вдоль пути певчих, сверяя его — по совершенно бессмысленной, оставшейся от иной жизни привычке — с тем, сколько таких свечей должно бы полагаться по обычной дворцовой смете на подобное число персон. Свечей оказалось заметно больше сметного числа. Мысль о том, что стоило бы выяснить, куда деваются лишние, посетила меня и была отброшена в ту же секунду с почти физическим усилием — не время, одёрнул я себя, и не место, и, положив руку на сердце,

не моё более дело: я давно выучил, что ревизорский зуд полезнее всего держать на коротком поводке именно тогда, когда искушение почесать его особенно сильно.

Внутри Успенского собора, куда мы наконец вошли — я в свите, чуть позади отца, — было тесно, жарко от тысяч свечей и оттого душно тем особым, плотным духом ладана, воска и человеческого множества, что въедается в память надёжнее любого зрительного впечатления. Отец стоял в центре, под сводами, расписанными древними, потемневшими от времени ликами, — невысокий, коренастый, в этот раз отчего-то не казавшийся смешным, как порой мог казаться в обычной дворцовой суете: то ли строгость обряда убирала с него всё лишнее и суетное, то ли я сам, наконец повзрослев, перестал видеть в нём только нервического, легко уязвимого человека и начал видеть ещё и государя, каким он всё-таки, вопреки всем моим детским и не очень детским сомнениям, старался быть.

Он венчался на царство сам — случай для русского престола едва ли не небывалый, — сам возложил на себя корону, не позволив митрополиту сделать это за него, и ту же корону, тяжёлую, новой работы, будто нарочно перегруженную имперскими символами по сравнению с прежними, более скромными венцами, я узнал не по описанию, а по тому недолгому разу, когда мне однажды показали её эскиз на утверждение, — тогда я не придавал этому значения, теперь же смотрел, как она опускается ему на голову, и думал о том, до чего причудливо иногда сходятся мелкие, забытые эпизоды жизни в один-единственный торжественный момент. Следом, и этого уже точно никто прежде на моей памяти не делал, отец собственными руками возложил малую корону на матушку — Марию Фёдоровну, — тем самым молчаливо, но недвусмысленно объявляя её не просто женой государя, а соучастницей самой власти, и я, глядя на это, невольно подумал о Елизавете, стоявшей чуть в стороне среди придворных дам с тем же внимательным, серьёзным выражением, с каким она слушала любую значимую для меня новость, — подумал о том, какой путь ещё предстоит пройти нам обоим, прежде чем подобный жест перестанет казаться чем-то из ряда вон выходящим.

За коронованием последовало миропомазание — обряд, о котором я, признаться, прежде знал только понаслышке, никогда не видел его вживую, — и когда митрополит коснулся освящённым маслом отцовского лба, век, ушей, груди и рук, произнося при каждом касании положенные по чину слова, я поймал себя на том, что внимательно, почти механически слежу за самой процедурой, будто оценивая её со стороны — не благочестия ради, а по застарелой профессиональной привычке искать в любом ритуале скрытую логику, ради которой он в своё время сложился именно так, а не иначе. Здесь, впрочем, логика была довольно прозрачной: обряд превращал человека, минуту назад бывшего просто немолодым, тревожным отцом семейства, в фигуру, формально причастную самому Богу, — и я, наблюдая за этим превращением с расстояния в десяток шагов, впервые по-настоящему остро почувствовал, что однажды, пусть и не скоро, та же процедура будет сделана надо мной, и я не знал, чего в этой мысли было больше — смирения или тихого, никому не высказываемого ужаса.

Но по-настоящему меня пробрало не венчание короной, а то, что за ним последовало. Отец, не передавая слово никому другому, сам, своим не самым благозвучным, но неожиданно твёрдым в этот момент голосом огласил Акт о престолонаследии — новый, строгий порядок передачи трона по мужской линии, от отца к старшему сыну, без всяких прежних вольностей, позволявших государю по личной прихоти назначить преемником кого угодно, вплоть до последнего фаворита. Я слышал собственное имя — не выкрикнутое, не подчёркнутое особо, произнесённое буднично, в общем перечне порядка наследования, — и всё же именно эта будничность, это отсутствие всякой театральности произвели на меня куда более сильное впечатление, чем произвела бы самая пышная церемония. Восемь лет я знал, что рано или поздно унаследую престол, — знал это как слух, как ожидание, как нечто вероятное, о чём можно было думать отвлечённо, откладывая настоящий разговор с самим собой на неопределённое потом. Здесь, среди золота и ладана, это перестало быть вероятностью и стало законом, записанным

на бумаге, скреплённым печатью и зачитанным вслух перед лицом всей знати государства, — и я, к собственному удивлению, ощутил при этом не гордость и не ужас, а нечто куда более прозаическое: холодное, почти канцелярское узнавание окончательно закрытого дела, того самого чувства, с каким когда-то, совсем в другой жизни, подписывал последний акт после долгой, изматывающей проверки. Приговор вынесен, обжалованию не подлежит — можно было бы пошутить, будь здесь уместны шутки.

Второй документ, оглашённый следом, — и, признаться, я не ожидал от этого дня подобного поворота — тронул меня едва ли не сильнее первого. Отец объявлял манифест, ограничивающий барщину тремя днями в неделю и прямо запрещающий принуждать крестьян к работе на помещика по воскресеньям. Формулировка была суховатой, чиновничьей, без единого слова о справедливости или человеколюбии — но за этой сухостью я, привычный распознавать за казённым слогом истинную цену распоряжения, отчётливо увидел то, что сам годами пытался внедрить на собственном уделе исподволь, уговорами и личным примером, а отец в один день, одним росчерком пера, распространил на всю империю разом. Мысль о том, что человек, чьи решения нередко казались мне плодом одной лишь тревожной, не знающей меры воли, оказался способен на подобный, пусть и половинчатый, шаг, заставила меня посмотреть на него — хотя бы на несколько секунд — не как на источник постоянной, изматывающей тревоги, а как на кого-то, чьи мотивы всё же сложнее той карикатуры, которую я, чего греха таить, годами носил в голове рядом с более трезвыми, более справедливыми оценками.

После службы, в отведённых для короткого отдыха государевых покоях примыкавшего к собору дворца, отец, ещё не успевший снять тяжёлые регалии, неожиданно остался со мной наедине — свита, повинуясь неслышному, но безошибочно понятому знаку, вышла за дверь быстрее, чем я успел заметить движение. Он стоял у окна, глядя на всё ещё гудящую внизу площадь, и, не оборачиваясь, произнёс то, что, я подозреваю, не собирался произносить вслух, — фразу, прозвучавшую скорее как обращение к самому себе, чем ко мне:

— Теперь-то уж точно не отнимут. Бумага есть.

Я не сразу нашёлся, что ответить, — не потому что не понял смысла, а потому что понял его слишком хорошо. За этой короткой фразой, брошенной без всякого пафоса, стояли не сила и не уверенность, а нечто прямо противоположное: застарелый, годами копившийся страх человека, который слишком долго ждал трона, слишком много боялся лишиться его ещё до того, как получил, и теперь, получив, всё равно не мог до конца поверить, что закон способен защитить его надёжнее, чем защищала бы собственная, никому не подотчётная воля. Я сказал что-то ободряющее — не помню уже точно, что именно, — но, произнося эти слова, впервые за долгое время видел перед собой не государя и не отдалённую, тревожащую фигуру отца, а просто немолодого, испуганного человека, до самого сегодняшнего дня не уверенного, что заслуженное им по праву рождения когда-нибудь действительно станет бесспорно его. Он не подал руки на прощание — не в его привычках было заканчивать подобные разговоры жестами, — но кивнул мне коротко, почти по-военному, и этот кивок, к моему собственному удивлению, отозвался во мне теплее, чем отозвалась бы любая более пространная нежность.

Из государевых покоев меня выпустили не сразу — пришлось ещё какое-то время простоять в соседней зале, покуда не разошлась немногочисленная свита, — и я воспользовался этой заминкой, чтобы, вместо того чтобы дожидаться, пока за мной пришлют, самому отправиться на поиски Елизаветы: протокол в такой день предписывал десяток различных мест, где ей полагалось находиться, и я, пройдя мимо двух из них впустую, обнаружил её наконец в маленькой угловой гостиной, выходившей окнами на всё ту же не унимавшуюся площадь, — она стояла у окна одна, отпустив на минуту камеристок, и в этой редкой, случайно образовавшейся тишине выглядела скорее задумчивой, чем праздничной, вопреки всему великолепию дня.

— Ты слышал, что читали, — сказала она, не оборачиваясь, когда я подошёл ближе; это не было вопросом. — Про наследование. Я стояла достаточно близко, чтобы разобрать каждое слово.

Я подтвердил, не находя пока в себе сил облечь услышанное в связный рассказ, и она, помолчав, добавила то, о чём я сам, признаться, ещё не успел толком подумать за всей тяжестью собственных переживаний этого дня:

— Это ведь не только о тебе бумага. Это и о детях, которые у нас когда-нибудь будут, — сказала она с той спокойной, лишённой всякой аффектации прямоотой, что всегда отличала её от прочих придворных дам её круга. — Ты сегодня стал не просто наследником вернее прежнего. Ты стал первым звеном в цепочке, которая протянется дальше нас с тобой, хотим мы того или нет.

Я не нашёлся сразу, что ответить, — мысль о детях, о собственном будущем потомстве в связи с только что услышанным законом, признаться, до этой минуты вовсе не приходила мне в голову, слишком занятую более отвлечёнными, государственными материями, — и от того, с какой лёгкостью Елизавета перевела разговор из плоскости отвлечённого закона в плоскость самого простого, самого человеческого будущего, мне вдруг стало и тревожно, и тепло разом. Мы постояли ещё немного молча, глядя в окно на толпу, понемногу редевшую под вечер, прежде чем нас позвали к вечернему столу — обязательному, протокольному, с которого удалось сбежать раньше времени лишь под благовидным предлогом дальней дороги, ожидавшей нас поутру.

Обратная дорога в Петербург заняла, как и полагается, не один день, и где-то на втором или третьем перегоне, когда карета остановилась для смены лошадей на очередной унылой, разбитой распутицей станции, я застал у крыльца Николая Ивановича Салтыкова — тот, по обыкновению сдержанный и деловитый, успел за время моего отсутствия в карете обменяться несколькими фразами с прибывшим из столицы курьером и теперь пересказывал мне свежие новости с тем же будничным тоном, каким когда-то, ещё в моём детстве, докладывал о нехватке восковых свечей на образа. Среди прочего, почти между делом, он упомянул, что в Коллегии иностранных дел ожидают со дня на день возвращения из Константинополя одного из тамошних посланников — молодого, но, по слухам, на редкость толкового человека по фамилии Кочубей, — прибавив к этому какую-то не относящуюся к делу подробность о константинопольской жаре, которую я слушал уже вполуха, глядя в окно на плоскую, только-только оттаившую после зимы равнину, убегающую вдаль в сторону дома.

Имя ничего мне тогда ещё не сказал — так же, впрочем, как когда-то, много лет назад, ничего не сказал мне произнесённое вскользь имя Луизы Баденской, — и я, привычно отметив его про себя без всякого особого интереса, кивнул Николаю Ивановичу и попросил его, если вернувшийся дипломат окажется в столице ко времени нашего приезда, устроить самое обыкновенное, ничем не примечательное представление — без того, чтобы за этим стояло хоть что-то, кроме обычного любопытства наследника к человеку, повидавшему больше света, чем видит за всю жизнь большая часть здешних царедворцев. Салтыков, по обыкновению невозмутимый, коротко кивнул в ответ и тут же вернулся к своим бумагам, а я снова остался наедине с Елизаветой в тесноватом, поскрипывающем на каждой выбоине возке.

Остаток пути прошёл в том особом, убаюкивающем однообразии, каким обычно и оборачивается долгая дорога после дня, вместившего в себя больше событий, чем иной месяц обычной жизни, — снег, ещё не до конца сошедший в низинах, чередовался с раскисшими, коричневыми от грязи полями, деревни сменялись деревнями, и я, глядя на всё это мелькание в окне, время от времени возвращался мыслями то к тяжести короны на отцовской голове, то к твёрдости собственного голоса, каким совсем недавно было произнесено моё имя в общем перечне наследников, то к куда более простому и тёплому — к руке Елизаветы, задремавшей у меня на плече где-то на исходе второго дня пути. Столица, когда наконец показались её первые,

ещё дальние огни, встретила нас тем же ровным, будничным гулом, каким встречала всегда, — и я, глядя на этот знакомый, привычный свет после стольких дней среди московского золота и ладана, впервые за всю поездку почувствовал что-то похожее на облегчение: что бы ни значил для меня отныне закон, только что скреплённый печатью в далёком соборе, здесь, дома, мне ещё предстояло прожить самую обыкновенную, будничную жизнь, из которой, как я уже успел выучить за прошедшие годы, только и складывается всё по-настоящему важное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.